

Культура. 2000. –
28 дек. – с. 11

Музыка на кончиках пальцев

Шарль Азнавур о времени, о жизни, о себе

“Лучший французский певец блюза”, “Французский Фрэнк Синатра”, “Последний великан парижского мюзик-холла” – в эти дни, когда Шарль Азнавур объявил о своем решении оставить сцену, пресса Франции удостоила его самых возвышенных и утонченных похвал. Последние концерты Азнавура в Париже напомнили парижанам трудные и счастливые годы французской песни. А специально для журнала “Пари-матч” певец написал “мелодио своих воспоминаний”. И оказалось, что старомодный, даже немного бравадирующий своей несовременностью кумир прошлых лет по-прежнему полон жизни, остроумен, бесконечно интересен. Живым, сочным, простонародным языком Шарль Азнавур рассказывает о своем творческом пути, встречах с Эдит Piaф, трудной и счастливой карьере – то есть о том, как ему, хрупкому южанину-эмигранту, удалось завоевать сперва Париж, а потом и весь мир.

Нет, я ничего не забыл

Ах, молодость, молодость! Я расскажу вам о временах, которые нынче помнят только те, кому стукнуло шестьдесят. В 1933 – 1934 годах началась моя богемная жизнь. И можете мне поверить, я и мечтать не смел, что мое имя когда-нибудь окажется на самом вершине афиш... Девятилетним мальчуганом я сбежал из школы, чтобы стать артистом. Мне было с кого брать пример: отец, грузинский армянин, и мать, турецкая армянка, пели и актерствовали еще до того, как Франция предоставила им убежище. В Париже, чтобы прожить, они открыли маленький ресторанчик. Хотя, по правде говоря, сильнее призвания была нужда, времена стояли тяжкие, и надо было подыскивать всякие разные работенки. Я попробовался в народный театрик, и меня сразу взяли. Танцовщиком! Я был такой хрупкий, что мне приходилось играть девочек в балетных пачках. Но меня привлекала комедия. Я ткнулся во все четыре конца Парижа, и мне стали бросать куски ролей. Был Генрихом Четвертым ростом с ноготок, в “Эмиле и детективах” играл негретенка, имитируя африканский акцент. Вот была эпоха! С площади Пигаль, где мы жили, я мчался на роликах через весь Париж – мимо русских кабачков, где то и дело хлопали пробки от шампанского, прямо в объятия девушек из ревю, почти раздетых – на них были одни птичьи перышки, – и в конце концов заехал в настоящую театры. Когда объявили войну, я все еще продолжал свою беготню по театрам и все еще на роликах, но уже с “аусвайсом”, так что меня не трогали. А отец ушел тогда добровольцем...

Еще вчера мне было двадцать

Поели мы черного хлеба, а потом наступила благодатная эпоха: пора друзей – тогда еще никто не говорил “дружков”. Мы создали группу. Нашей звездой была Жаклин Франсуа. Мне не давала покоя мысль, что я должен петь, но когда я попросил песни у моих старших товарищей, они сказали: мальчик, пойдешь погулять, никто тебя не знает, чего нам работать зазря. Тогда я сам написал песни, и дело кончилось тем, что они захотели их петь. Помню, когда я показал им свой первый опыт, они слушали разинув рот. Это было в песенном клубе на улице Понтье. Там мы проводили ночи, засиживались, не обращая внимания на комендантский час. Рассветы были волшебные. А по-

том я познакомился с Piaф, Мистенгетт, Марджан. Я писал для них. Мои песни пела Жаклин Франсуа. Так понемногу окрепли мои лапки.

Сначала я сочинял только музыку, не слова. У меня был комплекс необразованности. Я считал, что мой французский слишком беден. Но мало-помалу я научился различать нюансы, выбирая каждое слово с почти маниакальной тщательностью, которая живет во мне до сих пор. По сей день я страстно люблю словари. А в большую артистическую семью меня ввела Piaф. Ее двери были открыты для всех, кто носил музыкальные звуки на кончиках пальцев. В то время не существовало никаких кланов, никакого снобизма. Эдит удавалось объединять больших и маленьких, ведь она была любопытной, насмешливой и великодушной. Она-то и взяла меня под крылышко.

Тем, кто считает, что мы были любовниками, недоступна правда нашей истории. Все было несравненно лучше – влюбленная дружба, безумная нежность. Когда она плакала у меня на плече оттого, что ее бросил мужчина, это было прекраснее всего. Передо мной проплывал кортеж любви! А я просто помалкивал в своем уголке... Стоило только приблизиться к ней, чтобы ее полюбить. И неважно, что ненадолго. Это были вспышки, волнующие, ослепляющие. И при их свете она была видна вся – черная тень, хрупкий силуэт, освещенный прожектором. Нет, она была веселой, охочей до рискованных шуток, часто язвительной. Мне иногда приходилось бывать ее сводником. Я познакомил с ней Эдди Константиана. Я научил его, какими словами, какими жестами нужно соблазнять Эдит. Она так тяжело переносила одиночество! А в тот день, когда у них все началось, я поймал в зеркале лукавый взгляд Эдит, она подняла большой палец: “Хорошо разыграно!”

Я помню, как однажды вечером Эдит читала очень трудную книжку – кажется, “Поиски истины”. Она перелистывала страницы, останавливаясь на заинтересовавшем ее слове, докапывалась до смысла, возвращаясь к началу, чтобы удостовериться, что все верно поняла. Сердану она давала книги и пластинки. “Возьми послушай, вечером скажешь, что ты об этом думаешь”. В ней было что-то от школьной учительницы. Некоторые компаньоны Эдит поглядывали на меня свысока. Они были “патронами” и считали нас, меня и других, шушутами, приживалами. Я терпел это ради Эдит, ведь она была мне как сестра. Но в



Азнавур 9 лет



Азнавур и Эдит Piaф. 1945 г.



На сцене. 1963 г.

один прекрасный день у меня выросли мои собственные крылья.

На самом вершине афиши

Карьера моя началась в Касабланке. В Париже никто не хотел брать меня на работу. Зато там я завоевал маленькую славу. В результате, когда я вернулся, мне предложили работать в “Мулен-Руж”. Мои песни пели уже многие. Но с таким голосом и росточком жокера певцу Азнавуру труденько было с ходу вскочить в седло. Обо мне говорили: “Повезло же хрипуну”. Во мне не было ничего привлекательного. Кончилось тем, что я решил подправить себе лицо. Мне это посоветовала Piaф. А для меня и это было игрой. Накануне операции мы вечером хорошо выпили, и она сказала: “Это идиотство, не ходи туда”. А я настоял на своем. Меня ждала операционная, хирург был наготове. Так что хотя бы из вежливости надо было это сделать.

Но и после этого все осталось таким же унылым. Критики стреляли

по мне с удручающим постоянством. Особенно один, я его помню, он был автором уморительной “Самбы мексиканских пампасов”, – пользуюсь случаем, чтобы сказать ему об этом. Он меня просто не выносил. Его раздражало, что я пишу о повседневности, о мелочах жизни. На него это наводило тоску. Но я настойчиво отработывал именно этот стиль. Песни той поры были странными: они словно отключились от реальности. Люди читали Селіна, Дос Пассоса. Литература занималась раздеванием приличий. Мюзик-холл немножко поглупел. А мне хотелось передать в песнях свои чувства, внутренний мир, страдания, мелкие любовные сложности – словом, то, что знакомо каждому. В те годы у меня было много приключений. Я черпал вдохновение в любовных сценах, при рождении любви и при расставании. Вы будете смеяться или скажете, что я немного циник, но порой я думал: “Ах, вот же она, эта фраза, только бы ее не забыть. Она может быть

началом песни”. Кажется, все песни рождались из ничего. Мысль, схваченная на лету, пять секунд счастья или грусти – вот что всегда найдет отклик у публики.

Уезжайте меня на край земли

Надо мне было стать знаменитым за границей, чтобы я наконец себя поверил. Я нашел друзей в Америке, в России. Отметился у итальянцев, испанцев, немцев. Совершил кругосветное турне. И все время боялся, что это кончится. Но все шло как по маслу. Потому что и в Москве, и на Бродвее мужчины есть мужчины, а женщины есть женщины. В сущности, я двадцать лет провел в мире французской песни, сам ничуть не изменившись. И до сих пор самыми популярными остаются мои ранние песни. Вот одна из них, вы ее помните, она часто звучала в фильмах, телесериалах, кабаре, – “Я ем хомо, так говорят...” – а ей бы, кажется, была судьба стать слегка маргинальной. Я это написал в 1972-м, мне показало-

лось, что, когда кого-то называли “педиком”, это звучало издевательством. Написанный текст я показал друзьям, которые были ими. Вот отзвучала последняя нота, и повисла тишина. Долгая тишина. Потом один из них бросил мне: “Да кто это согласится спеть?” Я сказал: “Я”. Снова тишина, и потом меня спросил кто-то еще: “А как тебя представит публике?” – “Мне плевать!” – “Но люди верят, что ты ешь хомо!” Я расхохотался. Кем только меня не называли – евреем, марокканцем, любовником Piaф... еще черт знает кем. Я-то ярлыков не боюсь.

Любовь моя прекрасная

Если карьера моя шла плавно по прямой, то как человек я в один прекрасный день изменился. Прекратились мои выходы, кончились безумства. В 1967-м я встретил Уллу. Она стала моей женой. Я полюбил ее скромный, прямой характер, ее протестантскую этику, столь непохожую на нашу. Для Уллы я не

писал песен. И это, без сомнения, самый большой подарок, какой я смог ей сделать. Как мы с ней прожили, этого никому не расскажешь. Это только для нас двоих. Сперва я приходил к ней с подарками, с безделушками. Она надо мной смеялась. Не это ей от меня было нужно. И я понял, что для того, чтобы ей понравиться, мне надо всего лишь быть таким, каков я есть.

Я писал в стиле “йе-йе”, пофлиртывал с джазом. У меня были фильмы, я снимался в телесериалах. Мой отец говаривал: “Стоячие воды всегда загнивают”. А я не простаивал. Все испытать, всегда чему-нибудь учиться – вот что означает идти вперед. Я не знаю, что такое тоска, депрессия. Чтобы избежать ревматизма, мне достаточно носить в кармане каштан. Нужно сохранять способность к сопровитвлению, когда жизнь бросает вызов. Мне жаль, что я никогда не умел писать о несправедливости, нищете, тщете власти. А ведь эти слова в разговорах с мои-

ми детьми я произношу чаще, чем слова своих песенок.

Мой сын Никола, он учится в Канаде, вовсю увлекается техникой. Ничего общего со мной. Тем лучше – каждому свое. У Миши свой маленький издательский музыкальный дом. И он сам начинает сочинять. У Кати очень милый голосок. Эхом звучит он в моей душе и в песнях моих... И здесь можно бы поставить точку. Но мне другое не дает покоя: я все вспоминаю одну свою малоизвестную песню, там пара чувствует себя забытой, потому что последний птенец уже вылетел из семейного гнезда. Я назвал ее “Моей дочери”. Когда Катя уйдет от нас, мы будем жить, радуясь, что смогли обеспечить ей независимость и свободу, как и ее братьям. И мы станцем, прижавшись щекою к щеке. Как в другой моей песне. Если, конечно, Улла согласится.

По материалам зарубежной прессы подготовил Дмитрий САВОСИН

58